

ISSN 0130-6405

90

2

УКРУСТВО
К У Н О



Ежемесячный журнал
Орган Союза
кинематографистов СССР
Выходит с января
1931 года

Главный редактор
Щербаков К. А.

Редколлегия

Абдрашитов В. Ю.
Бланк Б. Л.
Вайсфельд И. В.
Гелейн И. И.
Гельман А. И.
Герасимов А. Н.
Герман А. Ю.
Голдовская М. Е.
Гребнев А. Б.
Григорьев Е. А.
Лукасян Ф. Г.
Гульченко В. В.
(первый зам.
главного редактора)
Гурченко Л. М.
Дмитриев В. Ю.
Донец Л. С.
Ибрагимбеков Р. И.
Игнатьева Н. А.
(зам. главного
редактора)
Караганов А. В.
Левин Е. С.
Мащенко Н. П.
Медведев А. Н.
Норштейн Ю. Б.
Рубанова И. И.
Савицкий Н. В.
Саканян Е. С.
Синельников В. Л.
Стишова Е. М.
Сулькин М. С.
(ответственный
секретарь)
Толстых В. И.
Уралов О. В.
Фомин В. И.
Франк Г. В.
Шенгелая Э. Н.
Шелотинник П. Г.
Шинарбаев Е. Б.

ИСКУССТВО КИНО 2

Содержание

Вопросы и мысли

- 3 Александр Гельман. Равенство неудовлетворенности
6 А. Д. Сахаров: декабрь 1986 — декабрь 1989

Современность и экран

- 9 Владилен Кузин: «Документальное кино — фикция свободы»
17 Федор Хитрук. Свобода выбора
18 Эмиль Лотяну. Климат справедливости
19 Ярополк Лапшин. Если мы разбредемся
Свободная тема
20 Г. Померанц. Диаспора и Абрашка Терц

Мир души

- 27 Николай Бердяев. Судьба России

Современность и экран

Необязательные заметки

- 33 Н. Сирипля. На том же месте...

Кинематограф 90-х.

Дневник

- 38 Наталья Иванова. От вольнолюбия до террора: короткий путь туда и долгая дорога обратно
42 Н. Реймерс — С. Шумаков. В жанре апокалипсиса
47 Вячеслав Кондратьев. Идет война... киношная
52 А. Егоров. Параллельный монтаж
60 Л. Аврутина. Найти магическое слово...
66 Л. Аннинский. «А если это даже не любовь?»
72 Сергей Лаврентьев. Жаворонки еще на нити
74 Анкета кинокритиков «ИК»

Беседы за рабочим столом

- 75 **Михаил Агранович.** Победа в кино бывает только общей

Теория, история

- 85 **Юрий Богомолов.** По мотивам истории советского кино
93 **Е. Левин.** Пять дней в 49-м
102 **Валерий Фомин.** «На братских могилах не ставят крестов...»
109 Кино тоталитарной эпохи
118 «Сотри случайные черты...»

За рубежом

- 120 **Е. Карцева.** «Доктор Живаго»: роман и фильм
127 **Досье «ИК»**

Сценарий

- 129 **Светлана Кармалита, Алексей Герман.** Гибель Отрара

„ИК“. Избранная проза

- 163 **Айра Левин.** Ребенок Розмари
175 **Фильмография**

In this issue:

Questions and ideas: Alexandr Gelman tells about the 2nd Congress of People Deputies (p. 3).

In memoriam of Andrey Sakharov (p. 6).

Vladilen Kuzin about the difficulties of the documental cinema (p. 9).

Film directors Fiodor Khitruk, Emil Lotianu and Jaropolk Lapshin discuss perestroika in Filmmakers' Union (p. 17).

Culture of the Soviet emigracy (p. 20).

Nikolay Berdiaev: "The Fate Of Russia" (p. 27).

Continuation of discussion about the 60-ies (p. 33).

Reviews of the films: "The Revolution Square" (p. 38),

"Stalingrad" (p. 47), "The Shock" and "The Ascent To

Fujijama" (p. 52), "Accident Of Region Scale", "It"

(p. 60), "Lady Macbeth Of Mcensk" (p. 66), "And Whe-

re To Go Then?" (p. 72).

Talk with cameraman Mikhail Agranovitch (p. 75).

Youry Bogomolov, Efim Levin, Valery Fomin — theoretical articles on the new approach of studying the

history of the Soviet cinema (p. 85).

Films of the totalitarian epoch (p. 109).

"Doctor Zhivago" — the novel and the film (p. 120).

Script of Svetlana Karmalita and Alexey German; "Loss

of Otrar" (p. 129).

Ira Levin: "Rosemary's Baby" (p. 163).

Filmography (p. 175).

Художественный редактор
Мишунина Л. В.
Корректор
Элькина Г. Г.

Адрес редакции:
125319, Москва, А-319
ул. Усиевича, 9.
Телефон: 151-02-72
Сдано в набор 20.11.89.
Подп. к печати 3.1.90 А07206.
Формат бумаги 70×100 1/16
Бумага офсетная № 1.
Гарнитура Таймс.
Печать офсетная.
Печ. л. 11,25,
усл. печ. л. 15,65, уч.-изд. л. 17,6
усл. кр.-отт. 17,91
Тираж 68 000 экз. Заказ 2766
Цена 1 руб. 30 коп.
Ордена Трудового
Красного Знамени
Чеховский полиграфический
комбинат
Государственного комитета СССР
по печати
142300, г. Чехов
Московской области

Издание Союза
кинематографистов СССР

Фото и адреса актеров
редакция не высылает

Поправка. В части тиража № 1 за 1990 год по вине типографии в выходных сведениях ошибочно указан тираж 53 000. В действительности тираж первого номера «ИК» 68 000 экз.

Свободная тема

Г. Померанц

Диаспора и Абрашка Терц



Мы смотрим на свет угасших звезд и слышим оттаявшие крики. Пережитые в Москве 1989 года события и чувства втягиваются в наши сегодняшние споры и оцениваются по сегодняшнему преискуранту. Мальчики указывают пальцами на ошибки, которые 50 или 70 лет тому назад делали их деды, и не могут понять, как это люди верили в то, во что сегодня не верится, — и как изменили вере, к которой мы сегодня вернулись.

Мы читаем одну за другой книги, изданные там, — безо всякого знания истории зарубежной России. Споры Вольтера с Руссо, Герцена с Хомяковым —

это мы проходили; и мы можем кое-как разобраться в отношении Честертона к Шоу или Бернаноса к Анатолю Франсу. Но русскую диаспору мы, как правило, не воспринимаем как исторически развивающееся целое, как систему со своими внутренними напряжениями, со своей полемической переключкой, сливающейся постепенно в диалогическое единство.

Я перечитываю в «Юности» (1989, № 5) превосходную статью А. Д. Синявского «Диссидентство как личный опыт» и думаю: сколько читателей улавливает, в кого направлены полемические стрелы — и в ответ на что? Хочется взять на себя роль зануды и пояснить: Синявский, прощаясь с застойной Москвой, бросил в сердцах фразу: «Россия-мать, Россия-сука!» В ответ началось... как бы сказать мягче: кампания протеста. Возглавил ее Солженицын. Каждый абзац в статье Синявского — продуманный ответ Солженицыну. И на каждый изящный укол терцевской шпаги будет новый удар палочкой в статье «Наши плюралисты»...

«Там» — целых три эмиграции. Первые две утряслись, объединились вокруг своей церкви, стали заправской диаспорой (об этом мы еще будем говорить). Третья эмиграция раскололась, выделила либеральное крыло (примерно в таком же меньшинстве, как Сахаров — на Съезде народных депутатов). Там, на свой лад, так же топают и свистят. Там, например, мой ответ на статью Солженицына «Наши плюралисты» поместили в «Христианском вестнике» только скрепя сердце и с постскриптумом Струве: «Не стыдно ли?» (то есть спорить с великим человеком стыдно, а я думаю, напротив, что глупо спорить с

дураками и именно спор с великим человеком может стать великим спором).

Там — целых три русских православных церкви. Н. Михалков недавно говорил, что православная церковь не менялась. Наша патриархия действительно неизменна в своем послушании. А там... Там два раскола. Первой, еще в 20-е годы, откололась от патриархии группа архиереев, твердо связавших себя с монархией. Эту церковь называют карловацкой (по собору в городе Карловац). Недавно она канонизировала Николая II и его семью. Второй раскол произошел после капитуляции местоблюстителя патриаршьяго престола Сергия перед Сталиным. Центристская церковь ориентируется сейчас на Солженицына, и «Вестник РХД» в передовой статье возражал против канонизации Николая с любопытной мотивировкой: канонизация мешает художественному исследованию прошлого (кажется, это первый случай в истории православного богословия). Наконец, есть еще третья церковь, но сохранившая единение с Москвой. Ее экзарх, митрополит Антоний Блюм, в 1974 году отслужил молебен за здравие арестованного Солженицына и был за это снят с работы; но дальнейших репрессий не последовало, и владыка Антоний по-прежнему навещает Москву, внося свой дух свободы в понимание догм. Все три церкви анафемствовали друг друга и отказываются даже причастить умирающего другого толка. Печальная картина на фоне отказа папы и вселенского патриарха Афинагора от взаимной анафемы 1054 года...

Эмиграция неотделима от раскола и вражды группировок. И немудрено, что книги Синявского, тепло принятые западными европейцами, вызвали страшный скандал среди зарубежных русских. Фрагменты из «Прогулок с Пушкиным» напечатаны у нас — и опять вызвали недоумение. Потому что торопящиеся критики судят об отрывках, не вникая в целое, не желая его понять, откликаются на отдельные царапающие фразы — вне контекста судьбы Синявского, вне контекста созданной им трилогии («Голос из хора», «Прогулки с Пушкиным»,

«В тени Гоголя») и, наконец, вне контекста эпохи, которая как-то очень быстро отошла в прошлое и стала туманно легендарной. Мы как бесписьменное африканское племя, у которого прошлое, забываясь в своей неповторимости, стихийно подгоняется под сегодняшний день. Мы можем прочесть десятки хороших книг об Афинах времен Перикла, а откуда узнать о духовной жизни Москвы 1953—1968 годов?

Я убежден, что главное лицо в трилогии Синявского — он сам, его раскол на академического ученого и стилизованного налетчика Абрама Терца, для которого (как, впрочем, и для Мандельштама в «Четвертой прозе») истинно только то, что запрещено, что надо украсть, писать тайком, читать из-под полы (лучше б ты человека убил — говорили идеологическому диверсенту следователи). Но чтобы понять все это, надо прежде почувствовать три книги именно как трилогию, как три части одного целого, нераздельного, как «Ад», «Чистилище» и «Рай». А в этом я почти одинок. Мнения читателей об отдельных книгах резко расходятся, но целого трилогии не чувствует почти никто. И почему записки о лагере, эссе о Пушкине и исследование творчества Гоголя — одно? Даже одна книга — о Гоголе — очень многими (по крайней мере, в русской диаспоре) не воспринимается как целое. Воспринимается «черный Гоголь» (серебряный не замечен); воспринимаются проклятия основоположнику социалистического реализма (не замечены благословения). Ибо задет догмат. Ибо плюнули в икону. Остальное не имеет значения. Никто, кажется, не заметил, что Синявский-Терц строит образ Гоголя примерно так же, как Солженицын — образ Твардовского в одной из лучших его книг — «Бодался теленок с дубом». Только Синявский обдуманно ставит на парадокс, на прыжок через противоречие, на мгновенное расширение кругозора до 360 градусов, а у Солженицына все получилось нечаянно, вопреки его философии, художественно опровергая принцип однозначной истины, как он провозглашен в статье «Наши плюралисты»: «Может ли

плюрализм фигурировать отдельным принципом и притом среди высших? Странно, что простое множественное число возвысилось в такой сан. Плюрализм может быть лишь напоминанием о множестве форм,— да, охотно признаем,— однако цельного движения человечества? Во всех науках строгих, то есть опертых на математику, истина одна — и этот всеобщий естественный порядок никого не оскорбляет... А множественность истин в общественных науках есть показатель нашего несовершенства, а вовсе не нашего избыточного богатства, и зачем из этого несовершенства делать культ плюрализма?..»¹

Вопреки этой наивной попытке одним махом исправить карту философии и покончить с плюрализмом Солженицын строит «Теленка» плюралистически. Всегда увлеченный и захваченный какой-то одной страстью, он в разных настроениях изображал Твардовского то саркастически, то с любовью, то с жалостью. Одна характеристика исключала другую. Но художественно, по ту сторону логики, они соединились, не сливаясь, в одно целое, в котором были и острота, и глубина, и субъективность, и объективность. У писателя — слава Богу! — хватило хорошего вкуса, редактируя записи, не поддаться на искушение прямолинейного мыслителя, свести концы с концами. Острые углы, торчащие во все стороны, так и остались несглаженными, и это прекрасно. Если б учитель математики переписал все заново и спрятал противоречия чувств за безупречной объективностью, вышло бы наверняка хуже. Почему-то без односторонности, без субъективности, без этих искажений выходит и менее объективно, не получается высшая, сверхобъективная правда.

Внутренний спор, столкновение различивших характеристик, каждая из которых откровенно односторонняя, возносит иногда в какое-то высшее бесстрастие духа, как бы в центр циклона, где среди бури и грома царит полная тишина.

Так это в романе Достоевского и,

может быть, потому, что Достоевский среди всех своих страстей знал глубокую тишину, умел затихнуть — в созерцании заходящего солнца, в молитве. Через несколько минут страсти брали свое, но высший миг где-то непостижимо длился, сохранялся в вере, что он вернется, в надежде, в любви к нему — и иногда действительно возвращался. На этом камне утверждён роман Достоевского, как церковь — на отступнике Петре. Страстная односторонность роздана персонажам, в последних трех романах — и рассказчику (одна из функций рассказчика — воплощенная захлестнутость полемикой); а высшее, глубинное я, открытое вечности, сохраняет бесстрастие духа и из этой точки покоя удерживает композиционное единство романа, создает ось, вокруг которой вращаются страсти...

Бывает, что гармоническое, целостное чувство истины есть в первой же фразе и остается до конца. Такое искусство плавает где-то над страстями. Но, увы, — большинству оно кажется абстрактным. Как живопись Владимира Вейсберга, упорно рисующего одно и то же: свет, из которого таинственно рождается цвет. Абстрактность — иллюзия нашего ума, захваченного частностями и способного только мыслить целое, отвлеченно признавать его, а не чувствовать.

Начав искать примеры гармонической целостности, я сперва сбился и по ассоциативному ходу стал думать о благородной сдержанности: Г. П. Федотов, В. Соловьев... Благородная сдержанность довлеет в философии, в высоком искусстве бесстрастие духа и страсть «неслияны и нераздельны». Как у Баха:

И ты ликуешь, как Исайя,
О рассудительнейший Бах!

В совершенном искусстве, как в совершенной любви: начинаешь с нежности, не теряешь нежности ни в каком взрыве страсти и возвращаешься к нежности (как море, ритм которого — один и тот же в тишине и в буре; только другой размах волн). Но где это совершенство сегодня, сейчас? В литературе Нового времени нет целостности более глубокой, чем роман Достоевского; а он весь по-

¹ «Вестник РХД», № 130, с. 134.

строен на pro и contra; он антиномичен, как мысль Абельера (у которого Достоевский взял эти термины).

В наши дни, на переломе от Нового к какому-то невесть какому времени, все слишком напряженно, разорвано, кричит от боли. Сдержанно объективное искусство Томаса Манна кажется иногда стилизацией. Даже философия не может обойтись без крика и сто лет вторит подпольному человеку Достоевского. Сверхобъективность, страстно вырастающая из бесстрастия духа, почти немислима. Я знаю, что она есть, я с ней встретился, я с ней живу рядом, но очень редко она мне самому дается. Я могу ее слушать, но во мне самом она редко говорит. Объективность дается нам только через субъективность, через страстную односторонность, через вскрик, с которого мы требуем справедливости, не требуем строгости суждений. И поэтому современное искусство и современная мысль почти всегда кого-то оскорбляют или раздражают. Оскорбил терцовский Пушкин, оскорбил его Гоголь...

Для некоторых читателей Гоголь неприкосновенен — как святой, которого церковь когда-нибудь канонизирует; или как гений. Ибо он жил в духовных борениях, нам недоступных. Гоголь действительно гениален. И борения его действительно связаны с глубинами, выходящими за поле зрения читателя. Так что если судить, то из этих глубин, как пытается это сделать Даниил Андреев.

Даниил Андреев совершенно отвлекается от вопроса, как наследие Гоголя было использовано, какую роль ему навязывали потомки. Отсюда сочувственное спокойствие его анализа. А Терц страстен и нетерпим, потому что Гоголь воспринимается им через призму гоголевской роли в советской идеологии. Надо было бы четче обособить эти два предмета, — собственно Гоголя и его советскую тень. Но тень эта — впервые описанная Синявским-Терцем — реальна и достойна исследования. История

навязала Гоголю одновременно две противоположные роли: Гоголь становится иконой в иконостасе диаспоры. Гоголь становится кариатидой сталинского идеологического фасада. Терц постоянно видит перед собой эту кариатиду, не может от нее отвлечься, а судят его эмигранты, для которых Гоголь прямо и просто свят. Человек плюнул на кариатиду — а судят его за оскорбление иконы.

Глухой глухого звал к суду судьи глухого...

Для богомольного человека — и особенно для богомольного эмигранта (потому что эмигранты особенно богомольны) чудовищно уже то, что Синявский-Терц вообще склонен к кощунству.

Это и личная его черта (как отсутствие иммунитета к болезни), и эпидемическая (как болезнь). Над переломными, кризисными эпохами Нового времени (барокко, романтика, декаданс) носятся, наподобие вирусов, влечение к кощунству и страх перед кощунством. Влечение к кощунству постепенно крепнет, страх слабеет. Ересь стала похвальным словом; догма, ортодоксия — ругательствами. Напрасно доказывают, что средневековые еретики себя еретиками не считали, что они, напротив, считали еретиками своих противников. Это так, но это было давно и неправда. То есть не оставило живого следа. Тогда было так, а теперь иначе. И Синявский-Терц, связанный с культурой Запада, как связана была вся петербургская Россия, — сын своего большого времени. Демон превратности, искушавший Бодлера и Ницше, приходил к нему.

Но кроме того, Синявский-Терц еще сын своей страны. Не идеальной России, а той самой, в которой он рос. В которой Бунина сразу после его (довольно злого антисоветчика) смерти стали печатать. Оставив плесневеть в Париже книги кроткого Ремизова, потому что Ремизов — причудник, модернист, а державе нужна была классика. Потому что государственному разуму номенклатуры сродни классика и глубоко противен модернизм, где все как-то разваливается на куски и кикиморы корчат вам рожи.

² Об этом будет рассказано в № 4—5 «ИК» нынешнего года. — Ред.

Дело не в том, что Бунин гений и власть уступила величию культуры. Если кого можно поставить сразу после Достоевского и Толстого, то это Набокова. Но Набокова Советская власть не торопилась признавать. На что номенклатуре «Приглашение на казнь»? Ей нужно твердое чувство прочности жизни — а не возможность любоваться бабочками, когда мир рушится, или пронзительное ремизовское чувство жалости.

Синявский вырос в Москве, где памятник Свободе убран и заменен памятником князю Долгорукому (на коне, специфический орган которого был, по слухам, отпилен по указанию целомудренной министерши культуры). В Москве, превратившей Пушкина, Гоголя, Толстого, Чехова в кариатиды, поддерживающие правительственный балкон. И концепция социалистического реализма, за которую (вместе с прочими своими грехами) Синявский отсидел пять с лишним лет, основана на этой реальности. На том, что Пушкин и Гоголь стали членами Политбюро.

Когда-то Троцкий пошутил, что Белинский, если бы жил в наши дни, стал бы членом Политбюро. В 1939 году я услышал от Леонида Ефимовича Пинского, не объяснившего мне, правда, сразу, кого он перефразировал: «Пушкин стал, наконец, членом Политбюро...» Потом он прибавил: «А товарищ Гоголь — кандидат в члены Политбюро...»

В дискуссии о классике, которую затеял Палиевский и продолжил самиздатный журнал «Поиски», уже отмечалось, что юбилей Пушкина (в 1937 году!) затмил любые юбилеи Маркса. Это не было уступкой народной любви. Это не было простой декорацией, за которой в застенках выламывали руки, отбивали почки... Нет, политический маневр был задуман и выполнен надолго и всерьез. С юбилея Пушкина власть переносит центр своих идеологических споров на русскую классику. Подведена черта закланной дружбе с левым искусством (Ленин и Сталин его никогда не любили). Вслед за Пушкиным символом Советской власти становится Гоголь. Грустный Гоголь скульптора Андреева заме-

нен бодрым Гоголем Томского, устремившим взор к коммунизму.

Практика социалистического реализма имеет очень мало общего с Гоголем:

Нам нужны
Подобнее Щедрины
И такие Гоголи,
Чтобы нас не трогали...

Но памятник Гоголю нам нужен. Точкой отсчета остается Гоголь. Если слово «реализм» сохраняет обаяние, то благодаря гоголевской школе, вышедшей, как сказал когда-то Достоевский, из «Шинели». Я не знаю, в какой мере Маркс отвечает за сталинизм, но если отвечает, то и с Гоголя можно спросить за соцреализм. Соцреализм использует Гоголя и Пушкина, как политическая идеология — Маркса и Энгельса.

Вот ситуация, которую остро чувствовал Синявский, сидя в лагере и сочиняя письма жене, из которых смонтирована книга «Прогулки с Пушкиным», или обдумывая книгу о Гоголе. Ему доставляло удовольствие плевать в юридически незащищенную часть официального фасада. Потому что клевета на неформального члена Политбюро т. Пушкина грозила только моральным осуждением.

Начал это не он. Началось еще в сталинские (и первые послесталинские) годы. Из щелей, в которых отсиживалась интеллигенция, выползла пародийная песнь, со швейковским верноподданным идиотизмом советизировавшая Шекспира и Толстого. Почему именно их? Наверное, потому, что Шекспир «титан эпохи Возрождения», а Толстой — «зеркало русской революции». Поплывали так, чтобы несколько брызг попало с одной классики на другую. Нарочно путали имена, даты, — например, смешивали Софью Андреевну с Александрой Львовной и клеймили за антисоветские выступления:

Позор, позор тебе, нахалка!
Позор тебе от всех людей!
А Лев Толстой горит как факел
Коммунистических идей.

Так начался советский карнавал, предсказанный Бахтиным. Пародийная песня впервые вывела на подмостки героев Галича, впервые взглянула на классику

глазами вора (точка зрения, которую Терц развил, оказавшись в гротескной жизненной ситуации). Во второй половине 50-х годов, когда гайки оказались ослаблены, пародийная песня разлилась широкой рекой, сливаясь и смешиваясь с лагерной. Трагедии Шекспира травестировались одна за другой. При мне в Библиотеке иностранной литературы — в 1956 или 1957 году — была травестирована «Ромео и Джульетта». Я не знаю остальных авторов пародий³, поэтому сообщаю об единственном лично мне известном случае. Одним из авторов была И. Левидова, в сталинское время передавшая в шарашку словарь Даля. Выйдя на волю, Солженицын послал ей горячее благодарственное письмо. Ручаюсь за то, что Шекспира она любила (и знала в подлиннике от корки до корки), так же, как Синявский Пушкина. И, конечно, не над Шекспиром издевалась. Как и Синявский — не над Пушкиным.

Служила интеллигенция, освобождаясь от гипноза страха, нагнала. На капустниках хрущевского времени так и пелось:

Мы с Пал Пальчем вдвоем
Обнаглели — и поем...

Серьезность выворачивалась наизнанку, оборачивалась (по Бахтину) материально-телесным низом.

Из Потьмы, в подцензурных письмах, про фигуры на балконе так прямо нельзя было. Пришлось вернуться назад, к первому действию карнавала — к фигурам под балконом. Почему только Толстой? Почему не столкнуть живого, дерзкого Пушкина с советской кариатидой? Почему не связать двух Пушкиных (был еще вор Пушкин) гротескно-нелепыми связями? «Жуковский — старший преподаватель...» Старший преподаватель — должность советского пушкиниста, наво-

дящего на Александра Сергеевича хрестоматийный глянец...⁴

А в это время в эмиграции шел противоположный процесс. Там складывалась русская диаспора. Но диаспора невозможна без своего особого священного писания. И тот же Пушкин, тот же Гоголь становились эмигрантскими иконами, монтировались в эмигрантский иконостас.

Я уже писал, что евреи растворились бы среди народов, если бы не превратили себя в народ-церковь. Потом на этот же путь стихийно встали другие самобытные народы древнего Ближнего Востока: армяне и копты, сирийцы и ассирийцы, финикияне. И вот теперь настала очередь русской культуры. Диаспора диаспоре рознь. Наиболее плодотворной была первая, создавшая Библию. Последующие диаспоры играли более скромную роль в развитии мирового духа. Какую роль сыграет русская диаспора — трудно сказать. С чисто религиозной точки зрения, она не претендует на новшества. Сплотившись вокруг той или иной русской православной церкви, найдя в церкви кусок почвы, которую можно было унести на своих подошвах, эмигранты попытались пересадить на ту же почву, в тот же церковный дворик все святости своей культуры. Нечто аналогичное испытали и внутренние эмигранты. Об этом впервые написал Шульгин. В советской Москве, в советском Киеве только в храмах ничего не изменилось. Те же облачения. Те же возгласы. И эта неизбежность обряда и предания становится стержнем нынешнего православного возрождения. Но в эмиграции внешней (в Париже, в Нью-Йорке) есть еще внешняя сила, толкающая к национализации православия. С чисто догматической точки зрения, никакого русского православия нет. Есть вселенское (кафолическое) греческое православие, общая религия греков, грузин, румын, болгар,

³ По сообщению А. И. Гулыги, родоначальником жанра был Сергей Кристи, друг Виктора Некрасова. Кристи принадлежит «Ходит Гамлет с пистолетом», «Отелло, мавр венецианский» и первая песня о Толстом, настолько оброщая вариантами, что отделить первоначальный текст вряд ли возможно.

⁴ Сравните песенные анахронизмы:
Писатель русский знаменитый,
Лев Николаевич Толстой,
Под Севастополем убитый,
Лежит давно в земле сырой...

сербов, украинцев, белорусов и русских. Даже язык, церковно-славянский текст Библии и литургии — общее достояние южных и восточных славян. Для национального самосохранения русской диаспоре надо было создать свой особый дворик в Царствии Небесном, дополнить общую Библию своей русской Песнью Песней, русским Иовом, русской Книгой Царств... И вот Пушкин стал русской Песнью Песней, Достоевский — русским Иовом, история Карамзина — русской Книгой Царств...

Вот реальность, с которой Синявский столкнулся в своих книгах о Пушкине и Гоголе. Реальность, с которой я столкнулся в «Снах земли»⁵. Каждая культура допускает только известную степень свободы. Диаспора обязана хранить канон без всяких перемен.

Диаспора — народ-церковь. Любая диаспора несет в себе два противоположных заряда: вселенского духа — и отшатывания от этого духа. Церковь-народ, как всякая церковь, больна гордыней вероисповедания, верой в безусловное превосходство своего писания над чужими писаниями. Но конфессиональная ограниченность диаспоры возведена в степень чувством национального самосохранения, а национальная обособленность возведена в степень верой в свой особый завет с Богом. И поэтому евреи, создав христианство, отшатнулись от него; и поэтому несториане и иудеи, сыграв решающую роль в подготовке Мухаммеда к зову в ущелье Хира, отшатнулись от ислама. Народы диаспоры — записные посредники и переводчики, они много раз помогали оплодотворить цветы земли дальней пыльцой, но сами укрывались, как могли, от этой пыльцы и долгими веками приносили скудные плоды.

Я говорил, что почва диаспоры в небе, и я от этого не отказываюсь. Но само небо разгорожено наподобие земли, и каждый народ-церковь держится за свою

лестницу в свой рай, за свою букву писания, за свой обряд. В живучести диаспоры есть что-то от нетленных мощей или живой мумии. Ускользание от смерти куплено ценой полноты жизни. И мне грустно наблюдать за процессом мумификации русской культуры. Достоевский свят, Толстой анафема, Солженицын свят, Синявский анафема. Так при мумификации вырезается из черепа все нечистое и выбрасывается, а оставшееся бальзамируется. Мумия может после этого храниться 5000 лет...

История диаспоры показывает то, что всякое другое поведение кончается самоликвидацией. Но в Москве есть выбор. Есть возможность жить в мире открытых вопросов. И когда москвич отказывается от неведомой и опасной дороги и сворачивает на утопанную эмигрантами тропу, мне это кажется нравственно ущербным (отказ от свободы), интеллектуально ущербным (отказ от широты кругозора) и неплодотворным для культуры. Хотя, может быть, для политики здесь открываются золотые россыпи... Ибо масса ищет спасения в катехизисе, а не в книге Иова.

Мне всегда мешали шоры, в которых, положено было смотреть на светлое будущее: ни вправо, ни влево, угол зрения меньше 30 градусов. И вот сейчас опять — ни вправо, ни влево. Только вместо уклона — ересь. Вместо временного расширения кругозора — новое сужение.

Впрочем, может быть, шоры и не снимались? Может быть, расширение оказалось мнимым? Или таким болезненным, что привычка к узкости легко победила? Чем расширять кругозор, открываться бездне, насколько проще — в тех же шорах, с тем же углом зрения меньше 30 градусов, ставшим второй натурой, — повернуться от самодержавия, православия и народности к коммунизму и от коммунизма к самодержавию, православию и народности? Не поэтому ли популярен Н. Ф. Федоров, сыгравший роль моста от православия к марксизму и ныне служащий мостом от марксизма к православию?

...Неужели нет выхода из этого порочного круга?

⁵ Книга, изданная в Париже в 1985 году. Отдельные фразы из нее обличаются в статье И. Р. Шафаревича («Наш современник», 1989, № 6). Пользуюсь случаем поблагодарить за негативную рекламу моих сочинений, неизвестных советскому читателю.